

Е.Ю. Михайлик

«АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ»:
«ВЗАИМНО ИСКАЖАЛ ОТРАЖЕНЬЯ»

Если подумать, «Архипелаг ГУЛАГ» начинается предельно странно. Исходная история об ископаемых рыбах или тритонах, сохранившихся в подземной ледяной линзе, обнаруженной при взрывных работах в долине реки Лыглыхтаха, и с удовольствием съеденных присутствующими к сугубому ущербу для науки — была уже исследована, и очень подробно: на уровне поэтики — Игорем Сухих¹, на уровне истории и зоологии — Николаем Формозовым². (В частности, Николай Формозов корректно указывает на то, что сам факт съедобности позволяет идентифицировать рыбу как нашу современницу — «после длительного замораживания биологические объекты, как правило, теряют воду, мумифицируются, становятся крепкими, как деревяшка»³.) Делая тритона метафорой Главного управления лагерей, Солженицын как бы возвращает исторической науке то, что было отнято у науки биологической.

Однако когда он постулирует, что «охотно съесть тритона» могли лишь представители «единственного на земле могучего племени *эзков*»⁴, Солженицын вступает в некое противоречие и с биологией, и историей. Дело в том, что, во-первых, тритоны не относятся к съедобным видам, и не только в силу того, что охраняются законом. Охраняются они собой, и куда надежней, ибо выделяют тетродотоксин — самый сильный небелковый яд естественного происхождения. Для представителя хомо сапиенс попытка съесть тритона влечет за собой последствия в диапазоне от ошутимого отравления до смерти в течение получаса — в зависимости от видовой принадлежности, возраста и пола съеденного тритона.

Впрочем, на Колыме, где происходит действие поразившей Солженицына заметки, тритоны и вовсе не живут. На Колыме проживает инвазивный сибирский углозуб⁵ — еще один вид хвостатых земноводных из той же группы. Он условно съедобен. Очень условно.

И вот здесь мы возвращаемся к истории. Солженицын «с друзьями» читали заметку в журнале «Природа» приблизительно в 1949 году, в заключении. Действие самой заметки происходит в 1942-м. Имеет смысл задаться вопросом: сколько было в 1942 году в Советском Союзе — да и не только там — мест, где население вообще, а дорожные рабочие в особенности, не съели бы что угодно, подорвавшееся на

мине, вырубленное из ледяной линзы, пойманное руками, — не разбирая видовой принадлежности, а также меры условной съедобности и ценности для науки? И как обстояло с такими местами в 1949 году — о годе 1948-м, когда заметка была опубликована, уже не говоря?

Солженицын описывает употребление тритона в пищу как некий эталон ненормальности, как поведение, по которому можно однозначно опознать конкретное «единственное племя на земле» — аборигенов Архипелага, и совершает две последовательных ошибки: во-первых, съесть тритона (особенно там и тогда) — не ненормально, а невозможно, а во-вторых, если речь идет не о тритоне, то описанное событие в это время могло происходить практически с кем угодно. Но, сдвигая все предпосылки, автор тем не менее делает из них совершенно корректный вывод. В военное время в долине реки Лыглыхтаха на строительстве узкоколейки Сеймчан — Эльгенуголь — Эльген могли работать только заключенные. В 1942 году обстоятельства Колымы, в частности размеры пайки, были таковы, что смертность в Севвостолаге превысила отметку в 12%, побив рекорд 1938 года⁶. Соответственно, съели бы какую угодно фауну, какой угодно этиологии.

Нужно сразу же заметить, что автор был прекрасно — в том числе и на личном опыте — знаком с географией и хронологией голода и недокорма. В самом тексте «Архипелага...» он приводит множество примеров — от постреволюционного голода в Поволжье и процесса над «организаторами голода» в 1930-м до великого голода 1932–1934 годов, через военный до 1947 года — и далее, к тем менее масштабным, но реальным проблемам, послужившим причиной расстрела в Новочеркасске в 1962-м. Собственно, постоянное многолетнее присутствие голода или недоедания как фона — одна из тех вещей, которые Солженицын (наравне с массовым растлением и потерей ориентиров — и конечно, систематическим убийством людей) чаще всего ставит в вину советской власти. Что же касается диапазона съедобности флоры и фауны и общей уникальности эзков в области пищевых привычек, то достаточно вспомнить, в каких выражениях описывал Солженицын рационы немецкого плена: «...Тому, кто не голодал, как наши военнопленные, не обгладывал летучих мышей, залетавших в лагерь, не вываривал старые подмётки...»⁷

Таким образом, автор «Архипелага...» не только сам понимает, что вынесенный в начало книги инцидент в своей практической части не является уникальной приметой системы ГУЛАГа, — он в дальнейшем не менее внятно дает это понять и читателю.

Какую же роль играет в «Архипелаге...» тритон? «Идут десятилетия, — пишет Солженицын, — и безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого. Иные острова за это время дрогнули, растеклись, полярное

море забвения переплётывается над ними. И когда-нибудь в будущем веке Архипелаг этот, воздух его и кости его обитателей, вмёрзшие в линзу льда, — представятся неправдоподобным тритоном»⁸ — что делает этот тритон в тексте с учетом того, что действительно неправдоподобен во всех своих проявлениях?

Как нам кажется, на первых двух страницах мы сталкиваемся с одной из важных особенностей поэтики «Архипелага ГУЛАГа» как художественного текста — и ключевой повествовательной проблемой, вставшей перед Солженицыным: как рассказать о лагерях — и о том, что, по его мнению, является существом лагеря, — той аудитории, которая и сама при случае не отказалась бы от углозуба.

* * *

Потому что следом за тритоном и предисловием идет глава: «Арест». И это следующий вопрос: а нужно ли было в 1958 году, в 1968 году — или даже в 1973-м благополучнейшем году объяснять населению Советского Союза, что такое «арест» и какими они бывают? Наблюдали сами — довоенные, военные и послевоенные, видели в фильмах о революционерах, читали в книгах о чекистах, твердо знали значение нейтрального, вроде бы, слова «пройдемте» и еще более бытового «вам телеграмма».

Собственно, зачем вообще спрашивать автору: «...Как попадают на этот таинственный Архипелаг?»⁹ И чем же он так таинственен, если в свое время можно было отстроить географию Москвы по списку лагунктов: «...На Садово-Триумфальной улице в доме № 4–10, в доме № 1 на площади Маяковского, в доме № 6 по Колпачному переулку, на улице Воровского (Поварской) и на 1-й Мещанской (проспекте Мира)...»¹⁰ — или и много позже проехать поездом 900 километров от Княжпогоста до Воркуты, не наблюдая из окна особенных разрывов в колючей проволоке? Если посреди Нагатина мог располагаться микрорайон с домашним названием «Митлаг» — в честь Дмитровлага? И не была Москва в этом отношении чем-либо особенным.

Куда уж ближе, казалось бы, искать населению знакомства?

Напомним, «Один день Ивана Денисовича» начинался так: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стекла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать. <...> Шухов никогда не просыпал подъёма, всегда вставал по нему — до развода было часа полтора времени своего, не казённого, и кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать...»¹¹

То есть читатель рассказа с первой фразы оказывается на иной территории в качестве внешнего наблюдателя, этнографа, путешеству-

щего с проводником. Ему рассказывают о мире, в котором живет Иван Денисович, но вовсе не обязательно — он сам. Лагерь в «Одном дне Ивана Денисовича» осваивается извне, читается как словарь Даля (или иной словарь, организованный гнездовым способом) — слово за словом, термин за термином — во всех возможных вариациях, значениях и сочетаниях, объясняя неизвестное через известное. Единственное существенное отличие — словарный курсор, наводящийся на термины в «Одном дне...», был живым и следовал собственным маршрутом. Впрочем, этот маршрут был стандартным и сам по себе являлся частью словаря.

Солженицын начал набрасывать большую, обобщающую книгу о лагерях еще в 1958 году — но окончательно она перешла из потенциального состояния в кинетическое уже по следам «Одного дня...».

«...Я еще до “Ивана Денисовича” задумал “Архипелаг”, я чувствовал, что нужна такая систематическая вещь, общий план всего того, что было, и во времени, как это произошло.

Но моего личного опыта, сколько я ни расспрашивал о лагерях, все судьбы, все эпизоды, все истории, и опыта моих товарищей было мало для такой вещи. А когда напечатался “Иван Денисович”, то со всей России как взорвались письма ко мне, и в письмах люди писали, что они пережили, что у кого было. Или настаивали встретиться со мной и рассказать, и я стал встречаться. Все просили меня, автора первой лагерной повести, писать ещё, ещё, описать весь этот лагерный мир. Они не знали моего замысла и не знали, сколько у меня уже написано, но несли и несли мне недостающий материал. Вот так и составились показания 227 свидетелей этих»¹².

То есть к тому моменту, когда Солженицын всерьез приступил к написанию «Архипелага...», у него была уже в распоряжении рабочая модель повествования о лагере — модель «Одного дня...» — почему же он не воспользовался ею?

Сам Солженицын, как мы видим, первым пунктом указывает разницу в масштабах и системности изложения — а также необходимость развертки во времени (в противовес классицистскому или толстовскому единству времени, места и действия «Одного дня...»).

Однако, на наш взгляд, куда серьезней было различие в риторике и поэтике.

Автор «Одного дня...» — как мы уже говорили — с первых строк пытался познакомить читателя с лагерем как таковым. Сконденсировать в одном дне одного заключенного некий универсальный опыт и перевести его на язык аудитории. Фактически создать идеальный лагерь по Платону. Заметим, что автор полностью преуспел в решении этой задачи, убедив даже заключенных из иных мест и времен, что в рас-

сказе описывается пережитое лично ими. Как писала в биографии А.И. Солженицына Людмила Сараскина: «Едва ли не каждый корреспондент утверждал, что в “Одном дне...” показан именно *его* лагерь, и готов были назвать подлинные имена. (Как-то В. Некрасов заметил: *один день* в этом лагере описан так, что видны *все* лагеря.)»¹³

«Архипелаг...» же с тех же самых первых страниц — с исходного тритона, с истории, вырванной с мясом из ледяной линзы, с главы «Арест», когда читателя буквально «уцепляют за ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо» неизвестно чьи «схватчивые» руки и, «словно куль», затаскивают в текст, кажется, стремится не познакомить, а скорее раззнакомить похищенную аудиторию с ее собственным опытом и бытом, с повседневной жизнью страны. Заставить ее увидеть не изнанку этого быта (хотя впоследствии Солженицын будет употреблять характерный технический термин «канализация») — а опознать часть лица. Выделить Архипелаг в зоне плотной городской застройки — и, соответственно, переоценить качество застройки в связи с существованием в ней Архипелага как неизбежного строевого элемента.

* * *

Система смыслопорождения «Одного дня...» позволяла зафиксировать лагерь «по состоянию на сегодня» — с частью прошлой и будущей истории. Кодифицировать его. «Подъем» — это то, что происходит в пять утра, «бригада» — это связанная коллективной ответственностью группа, от которой требуют план. План — это трудновыполнимый и для крепких здоровых людей объем работ...

Но возможно ли внутри этой системы было соотноситься с лагерем и исследовать его?

Ответ практически однозначен: крайне затруднительно. Та же самая «словарная» система, которая позволяла читателю-постороннему в кратчайшие сроки освоиться с местом действия, а читателю из бывших заключенных узнать в изображаемом лагере свой собственный, толкала воспринимать лагерь как данность. Ту же реакцию диктовал и жанр «производственного рассказа» — у любого производства есть своя специфика, отчего же не быть ей у производства лагерного? И если для того, чтобы утверждать, что держать безвинного, безобидного и трудолюбивого Ивана Денисовича Шухова в местах заключения — правильно и хорошо, требовалась все же редкой силы идеологическая закалка, то с вещами менее очевидными выходили некоторые затруднения.

Достаточно, например, вспомнить ситуацию с «шакалом» Фетюковым — бывший начальник, в лагере опустился и сам по себе человек нехороший, плохо работает, подводит бригаду в общем деле выжива-

ния, а потому ударить его — совершенно естественное движение даже для мирного Ивана Денисовича. «Фетюков всё ленивее: идёт, сучье вымя, носилки наклонит и раствор выхлопывает, чтоб легче нести. Костыльнул его Шухов в спину разок...»¹⁴

Насколько нам известно, одним из немногих читателей «Одного дня...», у которого эта походя описанная сцена вообще вызвала неприятие, был Варлам Шаламов. Читатели, не до такой степени погруженные в контекст, просто не замечали этого инцидента. А ведь — даже с учетом того, что позиция Солженицына отличалась от шаламовской, — вопрос о бригаде, отношениях в ней и том, как эти отношения использовались начальством, чтобы выбить план, проблематизировался и проговаривался в «Одном дне...» просто открытым текстом: «В лагере бригада — это такое устройство, чтоб не начальство эков понукало, а эки друг друга. Тут так: или всем дополнительное, или все подыхайте. Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? Нет, вкалывай, падло!»¹⁵ Но нет, вопрос о том, в каких таких обстоятельствах Иван Денисович Шухов, отторгающий лагерную этику как масло воду, может ударить доходягу, почти не обратив на то внимания, — и что для того должно произойти с ним самим — ушел неопознанным. А ведь эта лакуна была не единственной.

Тут следует сказать, что читательское — и критическое — восприятие «Одного дня Ивана Денисовича» было для Солженицына вопросом очень важным. Собственно, седьмая глава третьей части — «Туземный быт» (как и большой сегмент части седьмой «Сталина нет») просто построена на полемике с разнообразными упреками, выдвигавшимися в отношении Ивана Денисовича. То есть мы можем с уверенностью утверждать, что все свойства местной специфики прочтения, проявившиеся в ходе дискуссии, Солженицын отмечал, учитывал — и произвел огромную работу, позволяющую хоть в какой-то мере избежать подобных недоразумений в будущем.

Например, как точно заметил Клод Лефор¹⁶, автор «Архипелага...» не заводит речи об активном сопротивлении советской власти и ее многочисленным органам до той поры, пока не удостоверится, что читатель достаточно познакомился с лагерным бытом и привычками раннесоветского правосудия, чтобы счесть это сопротивление легитимным, — и впоследствии не очень склонен скрывать этот свой маневр. Аналогичный риторический прием, использованный в отношении власовцев, автор опять-таки проговаривает открытым текстом: «В Первой Части этой книги читатель ещё не был приготовлен принять правду всю... Там, в начале, пока читатель с нами вместе не прошёл всего лагерного пути, ему выставлена была только насторожка, приглашение *подумать*. Сейчас, после всех этапов, пересылок, лесо-

повалов и лагерных помоек, быть может, читатель станет посогласнее. В Первой Части я говорил о тех власовцах, какие взяли оружие от отчаяния, от пленного голода, от безвыходности. <...> А теперь, отодвигать дальше некуда, надо ж и о тех сказать, кто ещё до 1941 ни о чём другом не мечтал, как только взять оружие и *бить* этих красных комиссаров, чекистов и коллективизаторщиков?»¹⁷ Собственно, на этой точке читателю положено задуматься — а что еще следовало воспринять как приглашение?

Помимо этого, автор энергично использует элементы собственной биографии — выделяя и вынося на свет свои исходные зашоренность, предвзятость, неспособность понять и воспринять вещи, лежащие вне привычной понятийной базы (см., например, описание разговоров с социал-демократом Фастенко: «Тут многого в Фастенко я ещё не мог понять. Для меня в нём едва ли не главное и самое удивительное было то, что он лично знал Ленина, сам же он вспоминал это вполне прохладно... От этого и Фастенко ещё не мог многого мне объяснить, как бы хотел»¹⁸). Вынося — а затем демонстрируя работу по преодолению и одновременно — родство с читателем, вечное «мы» «Архипелага...». То есть совершая своего рода магическое действие — совмещение с читателем для превращения его в себя.

Но эта риторическая работа носит, скорее, характер настройки. Основной поток информации, на наш взгляд, идет по иному каналу. Ибо в «Архипелаге...» прием, который в «Одном дне...» затрагивал лишь отдельные аспекты быта (например, манеру фельдшера Вдовушкина записывать строчки одна под другой или сцену увлеченного подневольного труда, в обеспечение которого бригада Шухова вынуждена была предварительно совершить целый ряд правонарушений — от дачи взятки до кражи), распространится на все параметры лагерной и внелагерной жизни. Мы говорим об остраении.

Безусловно, с точки зрения самого Солженицына, он всего лишь следовал в русле толстовской традиции. Толстой, в конце концов, остранял все — от оперного театра до театра военных действий, от практики телесных наказаний до практики смертной казни, вынуждая аудиторию увидеть происходящее как бы впервые и соотносить с увиденным.

Однако нам представляется, что в данном случае это был Толстой, прочтенный через Шкловского, увиденный сквозь оптику ЛЕФа и литературы факта — и нелюбимого Солженицыным Эйзенштейна (см. классическую аргументацию в пользу риторического родства обоих в книге Ильи Кукулина «Машины зашумевшего времени»)¹⁹.

Если взять знаменитую цитату Шкловского из работы «Искусство как прием»: «И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почув-

ствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием “остранения” вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как восприимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен; *искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно*²⁰, мы увидим, что все вышесказанное воплощено в «художественном исследовании» Солженицына едва ли не дословно.

Читателю предъявляют всю производственную систему Архипелага, разложенную на простые действия: вот как происходит арест, и вот так, и еще вот так, вот как осуществляется помывка в бане (действие, знакомое всем, кто проходил массовую дезинфекцию), вот так перевозят заключенных, вот так — бьют (как будто об этом нужно кому-то рассказывать), вот так работают (как будто «тухта» была сугубо лагерным явлением), вот то, как едят, вот то чем.

Фактически от начала «Архипелага...» все описания, риторические конструкции, беседы с воображаемым Историком-марксистом, этнографические и физиологические очерки, бухгалтерские расчеты и обширные цитаты из советской прессы и протоколов, непрекращающаяся многоголосая полемика... В общем, вся эта тяжелая арочная конструкция из семи частей с заявленными отсылками к Чехову, Чернышевскому, Илиаде и Одиссее — это средства заставить аудиторию в буквальном смысле пережить делание вещи. Просто вещь в рассмотрении взята специфическая. Главное управление лагерей. Нам представляется, что в «Архипелаге...» автор стремится не просто описать явление, не просто помочь узнать — как было это в «Одном дне...» — а заставить увидеть самостоятельно.

С точностью до этикеток. Вот едет фургон с надписью «Хлеб» — и внутри там может быть хлеб, а может быть — по гулаговскому таинству пресуществления — мясо. Возможно — ваше собственное.

* * *

И вот здесь автору приходится столкнуться с уже знакомой опасностью.

Когда Шкловский пишет, что «...автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны»²¹, он подразумевает, что есть некое базовое состояние, в котором вещи, одежда, мебель — да и жена — во-первых, существуют, во-вторых, ощущаются, и ощущение это имеет высокую ценность. Базовое состояние, в котором война по умолчанию должна вызывать страх, а не, например, радость, апатию или отсутствие удивления. И возвращение к этому состоянию — крайняя

необходимость, поскольку в его отсутствие «пропадает, в ничто вменяясь, жизнь»²².

То есть остранение как прием подразумевает наличие нормы, к которой необходимо вернуться.

В тот момент, когда Солженицын начинает деавтоматизировать советскую действительность, — он тем самым нормализует ее. Архипелаг Главного управления, увиденный через фильтр остранения, тоже будет принят как естественная часть пейзажа. Как нечто, что находится здесь по праву. Более того — как нечто ценное. Как мебель, жена и страх войны.

Это в намерения автора не входило. Собственно, в намерения автора входило обратное.

Как следствие, для того чтобы рассказать о лагере, как его видел сам Солженицын и его информанты, автору было сначала необходимо восстановить, реконструировать норму, в отношении которой лагерь оказался бы явным и непреложным отклонением. Он должен был найти язык и систему аргументации, которые позволили бы говорить о каких-то не- и внеархипелаговских отношениях, мотивациях и социальных институтах в том самом обществе, которое отреагировало на публикацию «Одного дня Ивана Денисовича», в том числе и надземной и подземной дискуссией об этичности вдохновенного физического труда в каторжном лагере (труд умственный был реабилитирован по умолчанию).

Более того, этот язык, эти средства и эти нормы должны были каким-то образом преодолеть коммуникативный барьер и стать доступными обществу во всех его проявлениях. Заставить его поверить, что ненормально не только есть углозуба — но и доводить людей до такого состояния — и публиковать заметки о данном происшествии в журнале «Природа».

Проблема заключалась в том, что в мире, который А.И. Солженицын наблюдал вокруг себя к 1958 году, он не видел ничего, что мог бы принять за точку отсчета. Не видел связной системы ценностей, которая не порождала бы Архипелаг — или не мирилась с его существованием. Но, помимо координат географических, в его распоряжении находились временные. Будущее — и сама футуристическая реакция по Тойнби — были прочно оккупированы советской властью.

В «Архипелаге...» источником нормы стало прошлое.

Собственно, сверка в тексте идет постоянно. Описывается ли практика давления на семью — и тут же возникает: «По жестоким законам Российской империи близкие родственники могли вообще отказаться от показаний. И если дали показания на предварительном следствии, могли по своей воле исключить их, не допустить до суда. Само по себе

знакомство или родство с преступником странным образом даже не считалось тогда уликою!..»²³ Идет ли речь о крестьянах, отправленных в лагерь за «колоски» — «За это горькое и малоприбыльное занятие (в крепостное время крестьяне не доходили до такой нужды!) суды отвешивали сполна: 10 лет как за опаснейшее хищение социалистической собственности»²⁴. Глава пятая части третьей «На чём стоит Архипелаг» содержит подробное развернутое сравнение положения тех самых крепостных с положением аборигенов ГУЛАГа — не в пользу последних.

Начав с конструкций, утверждающих, что и в самых худших, самых скверных своих проявлениях Российская империя превосходила советскую власть бесконечно, автор понемногу выстраивает картину, которой житель этой империи не узнал бы. В ней нет голода. Даже «... крепостные были рабы, но были они сыты»²⁵. В ней процветают ремесла, и техника, и образование, способным открыты все пути. Есть справедливый суд и могучее общественное мнение, превращающее, например, голодовку в действенный инструмент давления на тюремную администрацию или даже государственную власть. Заключение жалеют, считают несчастными, на них не охотятся как на зайцев. Надзор настолько слаб, что революционер, путешествующий по подложному паспорту, едва не попадается — ибо по отсутствию необходимости его предъявлять забыл указанную в документе фамилию. С точки зрения советского гражданина, сказка — не правда ли?

В самой реакции такого рода — в том числе и в переприсвоении того образа старого мира, который генерировала советская власть, нет ничего удивительного. Как цитировал некогда М.Л. Гаспаров²⁶ С.А. Аверинцева: «В “Хулио Хуренито” одно интеллигентное семейство в революцию оплакивает культурные ценности, в том числе и такие, о которых раньше и не думали: барышня Леля — великодержавность, а гимназист Федя — промышленность и финансы. Вот так и Анна Ахматова после революции вдруг почувствовала себя хранительницей дворянской культуры и таких традиций, как светский этикет»²⁷. Примерно на том же языке высказывался Михаил Булгаков, используя для демонстрации своей внесоветской позиции сугубо советские приметы буржуа — монокль, ботинки с прюнелевым верхом и так далее — приметы, вовсе не имевшие той ценности и того значения в до-революционной жизни²⁸.

Но для Солженицына такого рода революционная реакция (ибо слово «революция» исходно означало проворот назад, возвращение к добрым старым порядкам, то, что А. Тойнби называл «архаизмом») была затруднена тем, что по не зависящим от него обстоятельствам он был знаком с до- и внелагерной средой лишь опосредованно, ибо год

его рождения совпадал с годом рождения советской пенитенциарной системы.

Что же было для него источником информации об избранной норме? Лагерь.

В буквальном смысле — ибо именно в тюрьме и лагере автор встретился с носителями прежних ценностей и прежней истории, а они — в обстоятельствах чрезвычайных — могли рассказывать о старом мире с откровенностью (и ностальгией), которые вряд ли позволили бы себе на воле, особенно с посторонним. В лагере Солженицын познакомился и с тем самым словарем Даля, который сделался его путеводителем по русскому языку.

И в смысле еще более буквальном — поскольку старый мир мыслится и осознается как нечто, по определению не являющееся и не могущее являться лагерем, нечто противостоящее ему.

Соответственно, если понятийная структура «Одного дня...» формировалась по принципу словаря, то аналогичная структура «Архипелага ГУЛАГа» превратилась, как нам представляется, в своего рода двойное зеркало — где лагерь реконструируется по личному опыту, открытым источникам и воспоминаниям очевидцев как образец ненормы, а правильная дореволюционная норма, которой он противопоставлен, воспроизводится тем же методом (и по тем же источникам) как образец не-лагеря.

Заметим кстати, что если Российская империя предстает в тексте утопией политической (причем в самой Российской империи эту утопию расценили бы как недопустимо революционную), то Даль является утопией языковой. Ибо словарь Даля описывал «не какое-то локальное наречие или группу диалектов, а охватывает самые разные говоры языка, распространенного на огромной территории»²⁹. То есть как страна никогда не имела той истории, которую воссоздает Солженицын в «Архипелаге...», — так и язык, предлагаемый им, не существовал в этом виде и объеме. Живой великорусский народ никогда не разговаривал на языке словаря Даля, взятом как целое. Более того, слишком плотное использование собранного Далем материала выдавало, скорее, чужака — например, Куприн в «Штабс-капитане Рыбникове» сделал его речевой характеристикой японского шпиона. Словарь Даля могла бы ввести в активный недифференцированный оборот образованного класса поэзия Серебряного века — такие попытки предпринимались и Пастернаком, и Мандельштамом, — но тут действительно революция помешала, уничтожив аудиторию, способную воспринять такие новации. Так что Солженицын и здесь невольно оказался преемником не консерваторов, а революционеров.

Если в «Одном дне...», чтобы показать настоящий лагерь, Солженицыну потребовался — по выражению Шаламова — лагерь ненастоящий, то в «Архипелаге ГУЛАГе», для того чтобы показать гражданам Советского Союза сугубую — действительную — ненормальность их быта, быта, в рамках которого тритон был пищей, а арест не имело смысла описывать по причине неартикулируемой общеизвестности процесса, ему потребовались иная история и собранный из несовместимых диалектизмов язык.

Ибо — в его представлении — только посредством апелляции к несуществующему, к встречной утопии мог лагерь, невидимо для граждан стоявший посреди Котельнической набережной, быть наконец совмещен с самой этой набережной в едином географическом и историческом пространстве.

И предсказуемым образом в двойном зеркале «Архипелага...» отразилась благая весть. Ибо если возможно построение подобия ада в одной отдельно взятой стране — значит, мыслимо и обратное.

Земную жизнь пройдя до половины, Александр Исаевич Солженицын встретил не пантеру, а тритона.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: *Сухих И.Н.* Сказание о тритоне, 1958–1968 // *Звезда*. 2001. № 12. С. 214–226.

² См.: *Формозов Н.А.* Метаморфоз одной метафоры: Комментарий зоолога к прологу «Архипелага ГУЛАГ» // *Новый мир*. 2011. № 10. С. 154–157.

³ Там же. С. 156.

⁴ *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956: Опыт художественного исследования: в 3 т. Екатеринбург: У-Фактория, 2006. Т. 1. С. 7.

⁵ См.: *Формозов Н.А.* Метаморфоз одной метафоры. С. 157.

⁶ См.: *Сталинские стройки ГУЛАга, 1930–1953* / под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. А.И. Кокурин, Ю.Н. Моруков. М.: МФД: Материк, 2005. С. 537.

⁷ *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ. Т. 1. С. 224.

⁸ Там же. С. 8.

⁹ Там же. С. 21.

¹⁰ *Натаров Е.* Гулаг в Москве // *topos.memo.ru*. URL: <https://topos.memo.ru/category/300> (дата обращения: 28.02.2019).

¹¹ *Солженицын А.И.* Один день Ивана Денисовича // *Собр. соч.*: в 30 т. М.: Время, 2006. Т. 1. С. 15.

¹² *Он же.* Из телеинтервью компании CBS (17 июня 1974) // *Солженицын А.И.* Публицистика: в 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1996. Т. 2. С. 98.

¹³ *Сараскина Л.* Александр Солженицын. М.: Мол. гвардия, 2008. С. 537–538.

¹⁴ *Солженицын А.И.* Один день Ивана Денисовича. С. 69.

¹⁵ Там же. С. 46–47.

¹⁶ См. *Лефор К.* Об «Архипелаге ГУЛАГе» // *Солженицын: Мыслитель, историк, художник. Западная критика, 1974–2008*: Сб. ст. / сост. Э.Э. Эриксон. М.: Русский путь, 2010. С. 383–387.

¹⁷ Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 1. С. 25.

¹⁸ Там же. Т. 2. С. 181.

¹⁹ См.: Кукулин И.В. Машины зашумевшего времени: Как советский монтаж стал методом неофициальной культуры. М.: НЛО, 2015. С. 299–340.

²⁰ Шкловский В.Б. Искусство как прием // Собр. соч. М.: НЛО, 2018. Т. 1: Революция / сост. и вступ. ст. И. Калинина. С. 256.

²¹ Там же. С. 256.

²² Там же.

²³ Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 1. С. 109.

²⁴ Там же. С. 67.

²⁵ Там же. Т. 2. С. 120.

²⁶ Благодарю за ссылку Илью Кукулина.

²⁷ Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М.: НЛО, 2000. С. 165.

²⁸ См.: Михайлик Е. Булгаков, Шкловский, Уэллс и «косность земли» // Тыняновский сборник / под ред. М.О. Чудаковой, Е.А. Годдеса, Ю.Г. Цивьяна. М.: Водолей, 2009. Вып. 13: Двенадцатые — Тринадцатые — Четырнадцатые Тыняновские чтения: исследования, материалы. С. 242.

²⁹ Сичинава Д.В. 20 вещей, которые надо знать о словаре Даля // Arzamas.academy. URL: <https://arzamas.academy/materials/1100> (дата обращения: 28.02.2019).